

* * *

Повелевающий оспою и чумой,
переводящий стрелки на мор и глад,
якобы призывает идти домой,
петь о хорошем и не смотреть назад.

В точности это не подтвердит никто,
сызнава явь дана через не хочу –
пик лихорадки, выжженное плато
и некролог бессчётному первачу.

Некто, передвигающий берега,
нечто в ничто сворачивающий оплечь,
постановляет, что песенка недолга,
если о прежней суতোлке в ней речь.

Что ж по балконам выстроились певцы
и по дворам оркестры берут своё,
брызгами майской пригородной пыльцы
береговое радуя вороньё?

Кто же, воронку времени замутив,
лезет в объятия именно той реки,
что шебуршит на старый дурной мотив
всей какофонии опыта вопреки?

Он растворяется, он претворяет бред
температурирующих в обморок волновой...
Вот и его как будто на свете нет –
только вода и небо над головой.

Но если всё же браво шагать по дну,
русло впотьмах угадывая едва –
звук на такую зарится глубину,
что уходящему и ни к чему слова.

* * *

Летний свет на трещины тороват –
лёгкой тени зубчатые края
разрезают грянувший виноград,
и дробится гроздьев его струя.

На десятки брызг – раскардаш листвы,
шалых ягод, жил, кривизны лозы...
И размеры бедствия таковы,
что оно огромней любой слезы.

И восторг, и ужас бессильны там,
где разъятья света ветвится ток –
зной бушует, плещется птичий гам,
выкипает воздуха кипяток.

Выгорает день до глазного дна,
но в угоду зреющему вину
подоплёка ночи насквозь видна
по размаху молний во всю страну.

* * *

И век забыт, и год неважен,
где водка выпита навзрыд
за синеву оконных скважин
и благодушье аонид.

Эфир преданьями запружен,
шустра бегущая строка...
И робок свет, и пресен ужин
уже который день сурка.

И заштрихован карантинном,
пылится лист календаря
назло морфеевым картинам,
где горы прячутся в моря.

И разливается истома,
и даль отчётливо видна,
и привезённого из дома
в достатке хлебного вина...

Но достоянье домоседа –
экран и кровь сердечных ран,
ночная скайпова беседа
под патронажем жарких стран.

О том, чем полнятся бокалы
по кухням бреда и беды
и что за сказочные скалы
вдали торчат из-под воды.

И отчего похмелье жутко
и люта жажда рубежа
межвременного промежутка,
где чудом теплится душа.

И май широк, и мир кромешен,
и сушь нещадная во рту...
Лишь ветки вишен и черешен
расцвечивают пустоту.

Её неразличимый купол
над повреждением времён
недоумением окутан
и словоблудьем окаймлён.

Но аонид слепое пенье
сквозь тьму, плывущую в окно,
вином затвора и терпенья
до дна приветствовать дано.

* * *

Всё не растворится столица –
стеклянное небо, дымы...
Пока пассажир веселится,
смыкаются пальцы зимы.

Хоть улицы и распростёрли
по пригородам огни,
литые фаланги на горле
итожат безумные дни.

И плач о путях и перронах
дышать не поможет ничуть...
Но странные проблески в кронах
вечерний трассируют путь.

Из центра событий и басен
реален побег на корню.
От этого вечер прекрасен,
хоть и не разъять пятерню.

Кромешным братанием с тьмою
плацкартная полка красна.
Сумою, зимою, тюрьюю
сквозит из открытого сна.

В нём на территории прозы
прозрачные станции слёз.
И дальше – сплошные морозы,
где память идёт под откос.

И белое брезжится чёрным,
провинция – краем земли,
где под замороженным дёрном
несметного счастья кули.

Сокровища, злы и капризны,
отсвечивают до утра...
И рукопожатье отчизны
рифмуется с долгим «ура».